

Глава IV

Приближалось 11 ноября — годовщина чикагской расправы. Мы с Сашей занимались приготовлениями к этому важному событию. Для поминовения забронировали колледж Купер-Юнион. Собрание должны были провести анархисты и социалисты вместе с передовыми рабочими организациями. Несколько недель подряд мы каждый вечер посещали различные профсоюзы, чтобы пригласить их принять участие в мероприятии. Каждый раз мне приходилось выступать с короткой речью. Раньше на немецких и еврейских лекциях я собиралась с духом, чтобы задать вопрос, и в тот момент у меня будто бы всё обрывалось внутри. Во время выступлений вопросы складывались в голове сами собой, но мне становилось дурно, едва я поднималась с места. Я отчаянно хваталась за спинку стула, стоявшего передо мной, сердце колотилось, колени дрожали — всё было как в тумане. Потом до меня словно издали доносился собственный голос, и в конце концов я опускалась на своё место в холодном поту.

Когда меня в первый раз попросили выступить, я отказалась — в уверенности, что ничего не получится. Но Мост не принимал отговорок, и остальные товарищи поддерживали его. Мне сказали, что ради Дела приходится идти на многое, а я ведь так сильно хотела приносить пользу общему Делу. Сама я думала, что мои речи звучат нескладно и неубедительно. Я постоянно повторялась, и всякий раз возникало то самое чувство дурноты. Мне казалось, что все вокруг видят моё смятение, но, похоже, никто его и не замечал. Даже Саша часто отмечал мои невозмутимость и самообладание. Не знаю, отчего именно — потому ли, что я была новичком в этом деле, или из-за моей молодости, или из-за горячего отношения к делу казнённых товарищей, — но мои речи вызывали интерес у всех рабочих, к которым меня посылали с приглашением.

Наша маленькая группа — Анна, Елена, Федя, Саша и я — решила купить большой лавровый венок с широкими черно-красными атласными лентами. Сначала мы хотели купить восемь венков, но так много денег не набралось — зарабатывали только мы с Сашей. В итоге мы остановились на венке для одного Линга²³: в наших глазах он был самым выдающимся героем из восьмёрки. Его непреклонный дух, полное презрение к обвинителям и судьям, сила воли, благодаря которой он не стал добычей в их лапах и сам лишил себя жизни, — всё это придавало личности двадцатидвухлетнего парня романтический ореол. Он стал нашей путеводной звездой.

Наконец, долгожданный вечер настал. Это был мой первый публичный митинг в память о мучениках. В рочестерских газетах я читала репортажи о впечатляющем марше на Вальдхейм — цепочка рабочих, сопровождавшая погибших до кладбища, растянулась на пять километров. Большие митинги проводились по всему миру. Я страстно желала оказаться на таком мероприятии, и вот мы с Сашей отправились в Купер-Юнион.

Исторический зал уже был набит до отказа, но мы всё же протиснулись внутрь с венком над головой. Даже на сцене не было места. Поначалу я растерялась, но потом увидела Моста, а рядом с ним — мужчину и женщину. Присутствие Моста помогло мне расслабиться. Его спутники смотрелись солидно. От мужчины исходила доброжелательность. На женщине было облегающее чёрное бархатное платье с длинным шлейфом, её бледное лицо обрамляла копна медно-рыжих волос, но сама она казалась холодной и отстранённой. Она явно принадлежала иному кругу.

Саша сказал: «Мужчина рядом с Мостом — Сергей Шевич, известный русский революционер. Сейчас он главный редактор социалистической газеты Die Volkszeitung²⁴. А женщина — его жена, урождённая Елена фон Доннигес». «Это не та, которую любил Фердинанд Лассаль и за которую он отдал жизнь?» — спросила я. «Да, это она. Она осталась аристократкой. На самом деле ей тут, конечно, не место. Но Шевич — потрясающий человек».



Сергей Шевич

Мост давал мне читать работы Лассаля. Они поразили меня глубиной мыслей, убедительностью, ясностью. Я изучила и его разностороннюю деятельность в рабочем движении Германии, которое только зарождалось в 50-х. Его яркая жизнь и безвременная

смерть на руках офицера после дуэли из-за Елены фон Доннигес произвели на меня сильное впечатление.

Меня отталкивала надменная суровость этой женщины. И длинный шлейф, и лорнет, через который она всех рассматривала, откровенно раздражали. Я повернулась к Шевичу. Он был приятен мне своим открытым добрым лицом и простотой манер. Я сказала ему, что хочу повесить наш венок под портретом Линга, но тот висит так высоко, что дотянуться можно только с лестницей. «Я подсажу тебя, моя маленькая соратница, и подержу, пока ты вешаешь венок», — любезно ответил Шевич. Он поднял меня, как ребёнка.

Я очень смутилась, но венок повесила. Шевич опустил меня вниз и спросил, почему из всех мучеников я выбрала именно Линга. Я ответила, что действия Линга повлияли на меня сильнее всего. Шевич мягко приподнял мой подбородок своей сильной рукой и сказал с большим чувством: «Да, он был похож на наших русских героев».

Вскоре начался митинг. Шевич, Александр Йонас — помощник редактора в Die Volkszeitung — и множество других выступающих на разных языках рассказывали то, о чём я впервые узнала от Иоганны Грайе. С тех пор я перечитывала эту историю, пока не запомнила каждую мелочь наизусть.

Шевич и Йонас выступили потрясающе. Остальные речи оставили меня равнодушной. Потом на трибуну поднялся Мост — и затмил всех. Меня подняло волной его красноречия, она бросала из стороны в сторону, всё моё существо словно сжималось и расширялось, реагируя на подъёмы и спады его голоса. Это была не речь, а гром со вспышками молнии, страстный крик об ужасе чикагских событий, яростный призыв к борьбе с врагом, к индивидуальным актам возмездия.

Митинг закончился. Мы с Сашей покинули здание вместе со всеми. Шли молча — я не могла говорить. Мы поравнялись с моим домом; я ощущала лихорадку во всём теле. Мной овладели нестерпимая тоска и невыразимое желание отдаться Саше, найти утешение в его руках после напряжённого вечера.

Моя узкая кровать теперь удерживала два тесно прижатых друг к другу тела. Комната больше не была тёмной: казалось, откуда-то исходил мягкий, спокойный свет. Будто во сне я слышала сладкие, милые слова, которые Саша шептал мне на ухо, — словно мягкие, красивые русские колыбельные из детства. Меня охватила сонливость, мысли спутались.

Митинг... Меня держит Шевич... Вот холодное лицо Елены фон Доннигес... Иоганн Мост... Его сильная, взволнованная речь, призыв к уничтожению... Где я слышала это слово раньше? Ах да, от мамы! Это о нигилистах! Ужас от жестокости матери опять овладел мной. Но ведь она не была идеалисткой! А Мост — идеалист, и тоже требовал уничтожения. Разве идеалисты могут быть жестокими? Враги жизни, радости и красоты жестоки. Они безжалостно убили наших великих товарищей. Что же, нам тоже нужно уничтожать? Сонливость как рукой сняло, меня словно пронзил электрический разряд. Я почувствовала, как дрожащая рука несмело скользит по мне. Я жадно прильнула к своему любовнику и снова ощутила ужасную боль — будто бы острый нож полоснул по телу. Но страсть охватила

меня и выпустила наружу всё подавленное, подсознательное, скрытое.

Я встретила утро, всё ещё нетерпеливо прижимаясь к Саше, жадно ища его близости. Мой любимый лежал рядом — он уснул от блаженной усталости. Я села и подпёрла голову рукой. Я долго смотрела на того, кто так привлекал и одновременно так отталкивал меня, кто мог быть таким суровым и касаться так нежно. Глубокое чувство любви к Саше росло в моём сердце — вместе с уверенностью, что наши жизни связаны навек. Я прижалась губами к его густым волосам и тоже уснула.

Люди, у которых я снимала комнату, спали за стеной. Такая близость всегда беспокоила меня, и сейчас, в присутствии Саши, мне казалось, что они всё видят. У Саши дома тоже не было никакого личного пространства. Я предложила снимать вместе маленькую квартиру, и он с радостью согласился. Мы рассказали о своих планах Феде: он попросил принять и его. Четвёртой к нашей маленькой коммуне присоединилась Елена Минкина. Её конфликт с отцом ещё более ожесточился с тех пор, как я от них съехала, и Елена не могла больше этого выносить. Она умоляла взять её. Мы сняли четырёхкомнатную квартиру на 42-й улице — и теперь каждый из нас наслаждался роскошью владения собственным уголком.

С самого начала мы договорились делиться всем и жить как настоящие товарищи. Елена продолжала работать на корсетной фабрике, а я разрывалась между шитьём шёлковых лиффов и домашними хлопотами. Федя посвящал всё своё время рисованию. Расходы на краски, полотна и кисти часто выходили за разумные пределы, но никому никогда не приходило в голову упрекнуть Федю за это. Порой он продавал картину какому-нибудь перекупщику за пятнадцать или двадцать пять долларов — и тогда приносил мне охапку цветов или какой-нибудь подарок. Саша корил его: ему была невыносима мысль, что Федя тратит деньги на такие пустяки, когда движению нужна помощь. Сашин гнев никак не уязвлял Федю. Он высмеивал Сашу, называл его фанатиком без чувства прекрасного.

Однажды Федя принёс домой красивый шёлковый трикотаж в сине-белую полоску, считавшийся тогда очень модным. Саша пришёл в ярость, увидев ткань. Он назвал Федю транжирой и неисправимым буржуем, который никогда ничего не добьётся в движении. Они сначала чуть было не подрались, и потом оба ушли из квартиры. Меня ранила суровость Саши. Я даже стала сомневаться в его любви ко мне. Она, видимо, была легковесной, иначе Саша не растаптывал бы мою радость, рождаемую Федиными подарками. Да, ткань стоила два с половиной доллара. Возможно, со стороны Феде было неразумным потратить так много. Но как он мог совладать со своей страстью к красивым вещам? Они же так необходимы душе художника. На сердце стало горько. Я была рада, что Саша так и не вернулся той ночью.

Его не было несколько дней. Мы с Федей проводили много времени вместе. Он обладал теми важными для меня достоинствами, которых не хватало Саше. Федя хорошо чувствовал настроение, а любовь к жизни и цвету делала его ещё человечнее и ближе ко мне. Он не требовал от меня посвятить жизнь Делу. С ним я чувствовала себя легко. Однажды утром Федя попросил меня ему попозировать. Я не испытывала никакого стыда, стоя перед ним обнажённой. Какое-то время он работал, и мы не разговаривали. Но потом он стал вести себя спокойнее и вдруг сказал, что пора заканчивать: не получалось сосредоточиться,

вдохновение исчезло. Я зашла за ширму одеться. Услышав громкие рыдания, я поспешила выйти и увидела Федю на диване: он лежал и всхлипывал, уткнувшись лицом в подушку. Я склонилась над ним, он сел и начал быстро-быстро говорить: он любит меня, любит с первой встречи, хоть и пытался это скрыть, чтобы не помешать Саше, он яростно боролся со своими чувствами, но теперь понял, что это бессмысленно. Ему нужно переехать.

Я села рядом, взяла его за руку и стала поглаживать его мягкие волнистые волосы. Федя всегда привлекал меня своей трогательной заботой, чувствительностью, любовью к красоте. Сейчас я чувствовала, как что-то ещё более сильное рождается во мне — не любовь ли это к Феде? Мыслимо ли — любить сразу двоих? Я любила Сашу. В эту минуту я забыла, как возмущала меня Сашина жёсткость — мне хотелось снова увидеть сильного, неутомимого любовника. И всё же я чувствовала, что Саша что-то не раскрыл во мне, и это «что-то» может воплотить в жизнь Федя. Да, получается, что возможно любить сразу двоих! Всё, что я чувствовала к художнику, верно, и есть любовь — просто раньше я этого не понимала.

Я спросила Федю, как он думает — можно ли любить несколько людей сразу? Он удивлённо посмотрел на меня и ответил, что не знает: он раньше никогда никого не любил. Любовь ко мне целиком поглотила Федю, вытеснив из мыслей всех остальных. Он знал, что не сможет обращать внимания на других женщин, пока любит меня. К тому же Федя сомневался, что Саша — настоящий собственник — согласится «делить» меня. Последняя мысль меня возмутила. Я настаивала, что можно взять только то, что другой человек согласен отдать. Я не верила, что Саша — собственник. Он страстно жаждал всеобщей свободы и никогда не запретил бы мне отдаться другому. Мы с Федей договорились, что в любом случае не станем никого обманывать. Мы должны пойти к Саше и честно рассказать о наших чувствах. Он всё поймёт.

В этот вечер Саша после работы, наконец, вернулся домой. Мы, как обычно, сели ужинать вчетвером. Обсуждали всякую всячину, но никто не заговаривал о долгой Сашиной отлучке. У меня не получилось поговорить с ним наедине о новом свете, который привнёс в мою жизнь Федя. Мы пошли слушать лекцию на Орчард-стрит.

После собрания мы с Сашей пошли домой, а Федя с Еленой ещё задержались. В квартире Саша попросил разрешения войти в мою комнату. Он стал изливать душу: говорил, что очень любит меня и хочет, чтобы у меня были красивые вещи. Да, он тоже любит красоту, но Дело любит больше всего на свете. Ради него он отказался бы даже от нашей любви, даже от своей собственной жизни.

Он рассказал мне об известном «Катехизисе», который требовал от революционера оставить дом, родителей, любимую, детей — всё дорогое его сердцу. Саша полностью разделял эти взгляды и был решительно настроен убрать все препятствия со своего пути. «Но я люблю тебя», — повторил он. Его напряжённость, самозабвение ради Дела раздражали меня и одновременно притягивали магнитом. Страстное желание быть с Федей отошло на задний план. Саша, мой прекрасный, преданный, одержимый Саша, звал меня. Я принадлежала ему целиком и полностью.

Чуть позже в тот день я должна была встретиться с Мостом. Он что-то говорил о коротком лекционном туре, который запланировал для меня. Конечно же, я не воспринимала всё это всерьёз, но Мост всё равно настаивал на встрече.

Редакция Freiheit была переполнена. Мост предложил переместиться в пивную неподалёку: после обеда там было тихо. Он разъяснил мне планы насчёт тура: мне нужно было съездить в Рочестер, Буффало и Кливленд. Меня это повергло в панику. «Это невозможно! — запротестовала я. — Я совсем не знаю, как читать лекции». Мост только отмахнулся от моих возражений и заявил, что все так думают в первый раз.

Он уже настроился сделать из меня ораторшу — мне просто нужно было начать. Мост уже выбрал для меня тему и был готов оказать любую помощь в подготовке. Говорить мне предлагалось о бесполезной борьбе за восьмичасовой рабочий день — её то и дело обсуждали в рабочих кругах. Мост заметил, что кампании за восьмичасовой рабочий день в 1884, 1885 и 1886 годах нанесли такой урон, что уже не оправдывалось значение «этого чёртового начинания». «Наши товарищи из Чикаго отдали за это свои жизни, а рабочие трудятся ещё больше прежнего». Мост настаивал: даже если бы восьмичасовой рабочий день всё-таки ввели, это не стало бы серьёзным достижением. Наоборот, массы отвлеклись бы от главной проблемы — борьбы с капитализмом, борьбы против наёмного труда и за новое общество. Мне предстояло только запомнить текст, который Мост для меня напишет. Он был уверен, что моя занимательная манера изложения и энтузиазм сделают своё дело. Мост, как обычно, пленил меня своим красноречием — я не могла отказать ему.

Уже оказавшись дома, вдали от Моста, я снова ощутила, что внутри у меня всё оборвалось — как в тот вечер, когда я впервые пыталась говорить на людях. До выступления оставалось три недели. Их с головой хватало на то, чтобы заучить текст наизусть, но я была уверена, что никогда не справлюсь с такой задачей.

Ещё сильнее, чем неуверенность в себе, во мне была ненависть к Рочестеру. Я перестала общаться с моей сестрой Линой и родителями, но очень хотела увидеться с Еленой, маленькой Стеллой, которой шёл уже четвёртый год, и младшим братом. Если бы я на самом деле умела выступать на публике, я бы без колебаний отправилась в Рочестер и выплеснула всю накопившуюся горечь в самодовольные лица людей, которые так жестоко обошлись со мной. А сейчас они только подсыпят соли на ту рану, которую нанесли сами. Я с нетерпением ждала, когда вернутся домой мои друзья.

К моему глубокому удивлению, Саша и Елена Минкина горячо поддержали план Моста. Они считали, что это необыкновенная возможность. Да, мне придётся вложить много сил в подготовку выступлений, но ведь тогда я смогу стать прекрасной докладчицей, первой женщиной-ораторшей в немецком анархическом движении Америки! Саша особенно настаивал: я должна отбросить все сомнения и думать только о том, как быть полезной Делу. Федя сомневался. Друзья настояли на том, чтобы я бросила шитьё и таким образом у меня появилось бы больше времени для новой важной работы. Они освободили меня от всех домашних обязанностей. Я вплотную занялась чтением. Иногда Федя приносил мне цветы. Он знал, что я не поговорила с Сашей. Федя никогда не давил на меня, но его цветы были откровеннее любых слов. Саша больше не порицал его за расточительность. «Я знаю, ты

любишь цветы, Эмма, — говорил он. — Они вдохновят тебя на новые свершения».

Я читала горы литературы о движении за восьмичасовой рабочий день, ходила на каждое собрание, где обсуждалась эта тема. Однако чем больше я узнавала, тем больше озадачивали меня новые знания. «Железный закон заработной платы»²⁵, «спрос и предложение», «бедность как единственный двигатель революции» — всё это не укладывалось в моей голове. Подобные слова оставляли меня равнодушной, как и механистические теории, которые мне доводилось слушать в рочестерском Социалистическом профсоюзе. Но в записях Моста всё излагалось ясно и понятно. Его образный стиль, неопровержимая критика условий жизни и потрясающие картины нового общества воодушевляли меня. Я по-прежнему сомневалась в своих силах, но всё, что говорил Мост, казалось мне неоспоримым. Я была уверена, что никогда не смогу заучить записи Моста. Его обличительные речи обладали неповторимым колоритом и остротой, каждая фраза в них была мне до боли знакома, но ни одну я не сумела бы повторить слово в слово. Значит, я воспользуюсь идеями Моста, но изложу их по-своему. Я так сроднилась с ними, что уже не могла различить, где просто повторяю их, а где рождаю собственные.

Настал день моего отъезда в Рочестер. Напоследок я встретила с Мостом; его воодушевлённый настрой и стакан вина расслабили меня. Он говорил долго и горячо, высказал множество предположений и добавил, что публику не следует принимать всерьёз: большинство — просто олухи. Он призывал меня выкладываться до предела. «Если тебе удастся рассмешить людей — плавание будет лёгким», — напутствовал Мост. Он сказал, что структура лекции большого значения не имеет. Я должна передавать свои мысли так, как передавала ему свои впечатления о первом походе в оперу, — тогда слушатели не останутся равнодушными. «Держи себя уверенно и гордо — я знаю, что тебе хватит смелости», — заключил Мост.

Он отвёз меня на такси к Центральному вокзалу. По пути Мост подсел ближе: он хотел обнять меня и спросил на это разрешения. Я кивнула, и Мост прижал меня к себе. Внутри вновь ожили противоречивые мысли и эмоции: предстоящие выступления, Саша, Федя, страсть к одному, расцветающая любовь к другому... Но я всё же покорилась Мосту. Он дрожал и покрывал меня поцелуями так, будто давно мучился от жажды. Я дала ему напиток: было невозможно отказать ему хоть в чём-то. Мост признался, что любит меня, он говорил, что никогда не испытывал такого желания ни к одной женщине. В последнее время его вообще никто не привлекал. Ему казалось, что годы летят слишком быстро. Моста измотала долгая борьба и постоянные преследования. Но ещё больше его угнетало, что даже самые близкие друзья потеряли с ним общий язык. А теперь я пробудила в нём юнца, и моя самоотверженность его воодушевляла. Я придала новый смысл жизни Моста. Я была «его белокурой голубоглазкой»; он хотел, чтобы я принадлежала ему, стала его помощницей, его голосом.

Я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Я была слишком подавлена, чтобы говорить, и слишком слаба, чтобы двигаться. Что-то непонятное зародилось во мне, что-то совсем не такое, как желание к Саше или ласковость к Феде. Совсем другое. Это была безмерная нежность к взрослому мужчине-мальчику, сидящему рядом со мной. Он напоминал мне корявое дерево, которое изогнули ветры и непогода, но оно из последних

